

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ

Москва
T8 RUGRAM
2018

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т53

Толстой, Л.Н.

Т53 Казаки / Л.Н. Толстой. – М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2018. – 198 с. – (RUGRAM-КЛАССИКА).

ISBN 978-5-517-00112-2

В нашем новом проекте вы найдете как книги из «золотого фонда» классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы».

Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА.

Вашему вниманию представляется книга Льва Николаевича Толстого «Казаки».

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FС
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-517-00112-2

© Т8 RUGRAM, оформление, 2018
© Т8 Издательские технологии, 2018

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церковей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промешит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съезжившись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. — И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчи-

щенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любит. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украд это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все конечно, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, кото-

рый был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйте, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной, — сказал высокий. — Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», — и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших. Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взьерошенная тройка потащила из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожаления и приятных давивших слез...

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю», — и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* — когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг стоворились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не лю-

бил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чують приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практиче-

скую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишённые этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего Бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а на верное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении.